



ИЗМЕНА

ТЫ НАС ПОТЕРЯЛ!

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

Ульяна Соболева

Измена. Ты нас потерял!

<https://litres.ru/74216169>

SelfPub; 2026

Аннотация

Вадим стоял, прижав её к стене. Белый халат валялся на полу, рубашка расстёгнута. Он одевался торопливо, дёргано — как подросток, которого застали за постыдным.

А она повернулась медленно, с улыбкой сытой кошки. Припухшие губы, размазанная помада, затуманенные глаза. Молодая, свежая, без единой морщинки. Тело, не тронутое ни временем, ни материнством.

И мир схлопнулся, как чёрная дыра, втянув в себя свет, звук и смысл. Жена стояла в коридоре — и её разрывало изнутри.

Двенадцать лет брака. Пока она вытаскивала их сына из жуткой темноты, муж находил утешение в чужом молодом теле.

Теперь ей предстоит выбрать: рухнуть вместе с этим браком — или подняться и заставить предателя пожалеть.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	28
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ульяна Соболева

Измена. Ты нас потерял!

Глава 1

Настя

Есть такая особая тишина — тишина дома, из которого ушла любовь. Она не пустая, нет. Она заполнена: призраками смеха, который когда-то звенел на этой кухне, призраками поцелуев, которыми мы обменивались у этого окна, призраками слов, которые больше никто не произносит вслух.

Я стою у плиты в шесть утра и варю овсянку. За окном — московский декабрь, чернильная темнота, фонари тонут в мокром снеге. Миша проснётся через полчаса, и к этому времени каша должна быть готова. Не горячая — тёплая. Не жидкая — определённой консистенции. В синей тарелке с корабликом, и никакой другой.

Мой сын не терпит отклонений от ритуала. Мой сын живёт в мире, где каждая вещь должна быть на своём месте, иначе этот мир рушится.

Иногда я думаю, что понимаю его лучше, чем кто-либо. Потому что мой мир тоже держится на ритуалах. Подъём в пять сорок пять. Душ. Кофе — одна чашка, без сахара. Овсянка для Миши. Разбудить, одеть, накормить. Логопед в де-

сать, дефектолог в два. Вечером — ванна, сказка, сон.

Ритуалы спасают. Ритуалы не дают думать.

А думать мне нельзя. Потому что если я начну думать — я начну чувствовать. А если я начну чувствовать — я развалюсь на части, и некому будет варить овсянку в шесть утра.

Ложка мерно помешивает кашу. За окном просыпается город — где-то хлопает дверь подъезда, проезжает машина, скрипят качели на детской площадке. Обычные звуки обычного утра.

Только оно больше не обычное. Уже двенадцать лет не обычное.

Двенадцать лет назад я смотрела в серые глаза мужчины, который клялся любить меня вечно, и верила каждому слову. Двенадцать лет назад я была двадцатитрёхлетней дурочкой с дипломом искусствоведа и звёздами в глазах. Я думала, что любовь — это навсегда. Я думала, что «пока смерть не разлучит нас» — это не просто слова.

Какой же наивной я была.

Овсянка начинает пузыриться. Я убавляю огонь, смотрю, как лопаются пузыри на поверхности. Лоп. Лоп. Лоп. Как мои иллюзии — одна за другой.

Миша просыпается ровно в шесть тридцать. Не потому что я его бужу — он сам. Внутренние часы у него работают с точностью швейцарского механизма. В шесть тридцать его глаза открываются, и он лежит неподвижно, глядя в потолок. Ждёт, когда я приду.

Я всегда прихожу.

— Доброе утро, солнышко.

Он не отвечает. Не смотрит на меня. Его взгляд по-прежнему направлен в потолок, туда, где едва заметная трещина в штукатурке складывается в узор, понятный только ему.

Мише шесть лет. У него мои тёмно-рыжие волосы и синие глаза — яркие, пронзительные, как осколки неба. Он красивый мальчик. Он мог бы быть обычным красивым мальчиком, который играет с другими детьми, ходит в садик, дерётся, смеётся, плачет. Но судьба распорядилась иначе.

Аутизм. Тяжёлая форма. Слова, которые врач произнёс, когда Мише было два года, а я всё ещё ждала, когда он заговорит. Слова, которые разрезали мою жизнь на «до» и «после».

— Пойдём умываться, — говорю я, протягивая руку.

Миша не берёт её. Он не любит прикосновений — моих, во всяком случае. Я научилась не обижаться. Научилась не принимать на свой счёт. Научилась любить на расстоянии вытянутой руки.

Он встаёт сам, идёт в ванную. Я иду следом, держась в трёх шагах позади — его зона комфорта. Слишком близко — плохо. Слишком далеко — страшно. Я балансирую на этой границе каждый день, каждый час, каждую минуту.

Иногда мне кажется, что я разучилась жить иначе.

Завтрак проходит в молчании. Миша ест овсянку маленькими ложками, сосредоточенно, не глядя на меня. Я пью

остывший кофе и смотрю на него — на изгиб его ресниц, на россыпь веснушек на носу, на то, как он хмурится, когда каша становится слишком холодной.

Он похож на меня. Все это говорят. Но иногда, в определённом освещении, я вижу в нём Вадима — в упрямой складке губ, в том, как он наклоняет голову, когда думает.

Вадим.

Я запрещаю себе думать о нём. Но он повсюду в этой квартире — в книгах на полках, которые мы покупали вместе, в фотографиях в рамках, в пустом месте рядом со мной в кровати.

Он работает. Он всегда работает. Заведующий реанимационным отделением — это не профессия, это образ жизни. Суточные дежурства, ночные вызовы, телефон, который звонит в три часа ночи. «Прости, срочно, не могу объяснить, жди».

Я ждала. Годами ждала. Ждала, когда он придёт с работы. Ждала, когда он заметит меня. Ждала, когда он вспомнит, что у него есть жена, а не только пациенты.

А потом перестала ждать. Потому что ждать — больно. Потому что надеяться — ещё больнее.

Мой телефон вибрирует. Сообщение от Вадима: «Задержусь. Сложный пациент. Буду к обеду».

Я не отвечаю. Какой смысл?

Есть одна вещь, которую невозможно объяснить тем, кто не жил с особенным ребёнком. Одиночество.

Не то одиночество, когда ты один в комнате. Другое. Когда ты окружена людьми — мужем, который приходит и уходит как тень, свекровью, которая знает лучше всех, подругами, которые «понимают» и «сочувствуют» — и при этом абсолютно, космически одна.

Миша — мой мир. Но Миша не может сказать мне «мама, я тебя люблю». Миша не может обнять меня, когда мне плохо. Миша не может спросить, почему я плачу в ванной, когда думаю, что никто не слышит.

А Вадим... Вадим спасает чужих детей. Чужих жён, чужих мужей, чужих матерей и отцов. Он герой. Он бог в белом халате. Он отрывает людей от смерти своими длинными сильными пальцами.

Только до меня эти пальцы давно не дотрагиваются.

После завтрака я одеваю Мишу. Это целый ритуал: сначала майка, потом рубашка, потом свитер. Всё в определённом порядке, определёнными движениями. Если я ошибусь — он замрёт, начнёт раскачиваться, и придётся начинать сначала.

Я не ошибаюсь. Я давно не ошибаюсь.

— Сегодня придёт папа, — говорю я, застёгивая пуговицы на его рубашке. — Ты рад?

Миша не отвечает, но что-то меняется в его лице. Едва заметно — для чужого глаза незаметно вовсе — но я вижу. Уголки губ чуть приподнимаются. Плечи расслабляются.

Папа.

Вадим — единственный человек, к которому Миша тя-

нется сам. Единственный, чьи прикосновения он принимает, чей голос успокаивает его во время приступов, чьё присутствие делает мир менее страшным.

Я не ревную. Честно — не ревную. Я благодарна, что у сына есть хоть кто-то, кого он подпускает близко. Я благодарна, что Вадим, при всей его занятости, находит время для Миши.

Только иногда, глубокой ночью, когда сон не идёт, я думаю: а почему не я? Почему мой собственный сын смотрит сквозь меня, а на отца — нет? Что я делаю не так? Чем я хуже?

И тут же одёргиваю себя. Это не соревнование. Это не война. Это просто жизнь, которая такая, какая есть.

Звонок в дверь раздаётся в десять утра. Я знаю, кто это, ещё до того, как открываю.

Галина Петровна.

Свекровь стоит на пороге — элегантная, ухоженная, в дорогом пальто и с тем выражением лица, которое я научилась ненавидеть за двенадцать лет. Выражение «я пришла спасти вас от вас самих».

— Настенька, — она целует воздух у моей щеки, обдавая волной французских духов. — Как же ты похудела. Совсем себя не бережёшь.

Это не комплимент. Это обвинение.

— Здравствуйте, Галина Петровна. Вы же сказали — в выходные.

— Планы изменились, — она проплывает мимо меня в квартиру, оглядываясь с видом инспектора. — Мишенька где?

— В своей комнате. Играет.

Она направляется туда, и я иду следом, хотя всё внутри кричит: «Не надо, остановись, ты его напугаешь».

Миша сидит на полу, собирает конструктор. Детали выстроены в ряд по цветам — красные, синие, жёлтые. Он берёт их в определённой последовательности, строит что-то, понятное только ему. Это может длиться часами.

— Мишенька! — Галина Петровна всплёскивает руками. — Бабушка пришла!

Миша вздрагивает. Его плечи напрягаются, пальцы замирают над красной деталью.

— Галина Петровна, пожалуйста... — начинаю я.

— Что ты всё время сидишь один? — Она подходит ближе, и я вижу, как Миша сжимается. — Пойдём, бабушка тебе печенья купила. Твоё любимое!

Она протягивает руку, чтобы погладить его по голове, и это — последняя капля.

Миша отшатывается, забивается в угол, закрывает уши ладонями. Начинает раскачиваться — вперёд-назад, вперёд-назад. Его губы шевелятся беззвучно.

— Мишенька, что ты... — Галина Петровна растерянно смотрит на меня. — Анастасия, что происходит? Почему он так?

Я опускаюсь на колени в трёх шагах от сына. Не ближе. Начинаю говорить — тихо, ровно, как учила логопед:

— Миша, всё хорошо. Ты в безопасности. Мама рядом. Красный, синий, жёлтый. Красный, синий, жёлтый.

Цвета его конструктора. Его якорь.

Он раскачивается ещё минуту, две, три. Потом постепенно затихает. Руки опускаются. Глаза находят меня — на секунду, не больше — и возвращаются к конструктору.

Кризис миновал.

Я поднимаюсь на ватных ногах, поворачиваюсь к свекрови. Она стоит у двери, бледная, губы поджаты.

— Вот видишь, — говорит она тоном, от которого хочется кричать. — Ребёнку нужна твёрдая рука. Дисциплина. А ты его распускаешь.

Что-то внутри меня щёлкает. Как выключатель.

— Галина Петровна, — мой голос звучит ровно, почти мёртво. — Выйдемте на кухню.

Она следует за мной, не подозревая, что сейчас будет. Я сама не подозреваю — до последнего момента.

На кухне я наливаю ей чай. Ставлю чашку на стол. И говорю:

— Вы не будете приходить без предупреждения. Вы не будете трогать Мишу без его согласия. Вы не будете говорить мне, как воспитывать моего сына.

— Да как ты смеешь...

— Смею, — обрываю я. — Это мой дом. Мой ребёнок.

Моя жизнь.

Она смотрит на меня так, словно видит впервые. Возможно, так и есть. Возможно, за двенадцать лет она видела только удобную картинку: тихая Настя, послушная Настя, Настя, которая молчит и терпит.

Я больше не хочу терпеть.

— Я скажу Вадиму, — она поднимается, грохнув чашкой о блюдо. — Он узнает, как ты обращаешься с его матерью.

— Скажите, — я пожимаю плечами. — Может быть, хоть тогда он заметит, что у него есть семья.

Она уходит, хлопнув дверью. Я стою на кухне, смотрю в окно на мокрый снег и чувствую странное — не облегчение, нет. Пустоту.

Двенадцать лет я строила эту жизнь. Кирпич за кирпичом, ритуал за ритуалом. И вот стою посреди неё и не узнаю ни стен, ни себя.

Вадим приходит к обеду, как обещал. Я слышу, как открывается дверь, как он снимает ботинки, вешает куртку. Каждый звук знаком до одури.

— Настя?

Я не отвечаю. Сажу в гостиной, смотрю, как Миша собирает конструктор.

Вадим появляется в дверях — высокий, тёмноволосый, с сединой на висках, с тенями под серыми глазами. Красивый. Даже сейчас, после суточного дежурства, помятый и уставший, он красивый. Жизнь несправедлива.

— Привет, — он наклоняется, целует меня в макушку. Привычно, автоматически. Как здороваются с мебелью.

— Привет.

— Как Миша?

— Нормально. Была твоя мама.

Он морщится:

— Она же обещала в выходные.

— Планы изменились, — я повторяю её слова, и они звучат как приговор.

Вадим идёт к сыну, садится рядом на пол. Миша не отстраняется — напротив, чуть придвигается ближе, почти касаясь плечом отцовского колена. Для него это — объятие.

— Привет, мужичок, — говорит Вадим тихо. — Что строишь?

Миша не отвечает, но показывает — серьёзно, сосредоточенно. Красная деталь сюда, синяя туда. Вадим смотрит, кивает, задаёт вопросы, на которые не ждёт ответа.

Я наблюдаю за ними и чувствую то, что не хочу чувствовать. Зависть. Боль. Одиночество.

Мой муж и мой сын — в трёх метрах от меня. И я никогда в жизни не была так далеко от них обоих.

Вечером, когда Миша уже спит, мы сидим на кухне. Вадим пьёт чай, я верчу в руках пустую чашку. За окном — ночь, снег, огни соседних домов.

— Тяжёлый день? — спрашиваю я, хотя мне всё равно.

— Как обычно, — он пожимает плечами. — Грипп,

осложнения. Один не дотянул.

Он говорит это спокойно, без эмоций. Привык. За двадцать лет привык к смерти, как я привыкла к одиночеству.

— Мне жаль.

— Ничего. Это работа.

Молчание. Тяжёлое, вязкое, как болото. Мы тонем в нём оба — медленно, по сантиметру в день.

Я смотрю на него — на этого мужчину, за которого вышла замуж двенадцать лет назад. Он изменился. Поседел, похудел, взгляд стал жёстче. Я тоже изменилась. Мы оба изменились, только не вместе — по отдельности. Два человека, живущие в одной квартире, но в разных вселенных.

Знаете, что самое страшное в умирающем браке? Не ссоры, не скандалы, не разбитые тарелки. Тишина. Когда говорить не о чем. Когда смотреть друг на друга не хочется. Когда касания становятся случайными, а поцелуи — дежурными.

Когда ты лежишь рядом с человеком и чувствуешь себя так, словно между вами километры пустоты.

— Вадим.

— М?

— Ты меня любишь?

Он поднимает глаза. Смотрит на меня — впервые за вечер, по-настоящему смотрит.

— Что за вопрос?

— Простой вопрос.

Пауза. Секунда, две, три. Целая вечность.

— Конечно, люблю, — он говорит это так, словно отвечает на вопрос о погоде. «Конечно, сегодня холодно». «Конечно, завтра будет снег». «Конечно, люблю».

Я киваю. Допиваю остывший чай. Встаю, мою чашку, ставлю на сушилку.

— Спокойной ночи, — говорю я.

— Спокойной ночи, — отвечает он.

Я ухожу в спальню. Ложусь в холодную постель. Смотрю в потолок.

Он придёт через час, ляжет рядом, отвернётся к стене. Мы будем лежать в темноте — два чужих человека под одним одеялом. И никто из нас не скажет того, что нужно сказать. Не сделает того, что нужно сделать.

Потому что мы разучились. Потому что мы забыли, как это — быть близкими. Потому что где-то по дороге мы потеряли друг друга и не заметили.

А может, заметили. Просто не хватило смелости признать.

Слёзы катятся по вискам, затекают в уши. Я не вытираю их. В темноте никто не видит. В темноте можно быть слабой.

Глава 2

Настя

Говорят, что время лечит. Враньё. Время не лечит — оно просто покрывает раны коркой привычки. Ты ходишь, дышишь, улыбаешься, и все думают, что ты в порядке. А под коркой — гной, боль, гниющая плоть. Стоит ковырнуть — и всё вскрыется.

Я научилась не ковырять.

Прошла неделя с того дня, когда я выгнала свекровь. Вадим так и не спросил, что случилось. Галина Петровна, видимо, не позвонила ему жаловаться — или позвонила, но он не счёл нужным обсудить это со мной. Мы вообще мало что обсуждаем в последнее время. Говорим о Мише, о счетах, о том, что нужно купить молоко. Бытовая шелуха, за которой прячется пустота.

Сегодня — вторник. Обычный декабрьский вторник, серый и промозглый. За окном — та особая московская слякоть, когда снег смешивается с грязью и превращается в бурое месиво под ногами. До Нового года — чуть больше двух недель, но я не чувствую никакого праздника. Только усталость. Тупую, свинцовую усталость, которая въелась в кости.

Миша сидит на полу в гостиной, раскладывает карточки с картинками. Это часть его терапии — сопоставлять изображения, учиться распознавать эмоции. На одной карточке

— улыбающееся лицо. На другой — грустное. На третьей — злое.

Он безошибочно кладёт их в нужные стопки. Мой сын не говорит, но он понимает. Больше, чем кажется. Больше, чем думают те, кто смотрит на него и видит только диагноз.

— Молодец, солнышко, — говорю я, садясь рядом. Не слишком близко — в его зоне комфорта.

Он не смотрит на меня, но его пальцы на секунду замирают над карточкой с грустным лицом. Потом продолжают движение.

Я думаю: он знает. Каким-то шестым чувством, недоступным обычным людям, мой сын знает, что его мама — эта женщина с грустным лицом на карточке.

Телефон звонит в половине одиннадцатого. Номер незнакомый, но с московским кодом.

— Алло?

— Анастасия Дмитриевна? — женский голос, официальный. — Это нотариальная контора Петровой. Вы оставляли заявку на консультацию по разделу имущества.

Меня будто окатывает ледяной водой.

Я не оставляла никакой заявки. Не в этой жизни, во всяком случае. Но месяц назад, в особенно тёмную ночь, я сидела с ноутбуком и искала... Искала что-то. Выход. Ответ на вопрос, который боялась задать себе вслух.

Видимо, где-то оставила свой номер. И забыла. Или заставила себя забыть.

— Я... — горло пересыхает. — Я перезвоню.

Сбрасываю вызов. Руки дрожат.

Развод. Это слово всплывает в сознании, как труп из воды — раздутое, страшное, невозможное. Я думала об этом. Конечно, думала. В те ночи, когда лежала без сна, слушая, как Вадим дышит рядом — ровно, спокойно, словно у нас всё хорошо.

Но думать — одно. А сделать...

Миша. Всё упирается в Мишу.

Что будет с ним, если мы разведёмся? Как он перенесёт разрушение своего мира, где каждая вещь должна быть на месте? Как объяснить ребёнку, который не понимает слов, что папа теперь живёт в другом доме?

И главное — как я справлюсь одна?

Я смотрю на сына. Он закончил с карточками и теперь сидит неподвижно, уставившись в окно. Там, за стеклом, качается голая ветка — туда-сюда, туда-сюда. Миша может смотреть на такое часами. Его завораживает ритм, повторение, предсказуемость.

Мне бы так. Мне бы найти что-то, на что можно смотреть часами, не думая.

Вадим звонит в обед.

— Задержусь, — его голос усталый, деловой. — Поступил сложный. Буду поздно.

— Хорошо.

— Как Миша?

— Нормально.

Пауза. Три секунды пустоты в телефонной трубке.

— Ладно. Пока.

— Пока.

Гудки.

Вот и весь наш разговор. Двадцать слов, из которых половина — междометия. Это то, во что превратился наш брак. Обмен информацией, логистика, координация расписаний. Два диспетчера, управляющие одним ребёнком.

Я сажусь на кухне, смотрю в окно. Там всё та же слякоть, те же серые дома, те же серые люди под серыми зонтами. Декабрь в Москве — это месяц, когда солнце умирает. Оно встаёт поздно, садится рано, а между — сумерки, бесконечные сумерки, в которых тонет душа.

Я думаю о том, как мы дошли до этого. Где был тот момент, когда всё пошло не так? Когда мы перестали разговаривать — по-настоящему, не о счетах и молоке? Когда перестали касаться друг друга — не случайно, а намеренно, с желанием? Когда его поцелуи стали дежурными, а мои — вымученными?

Может быть, это случилось, когда родился Миша. Когда стало ясно, что наш сын — особенный. Когда вместо обычного родительства мы получили вечную войну с миром, который не приспособлен для таких детей.

А может, раньше. Может, мы изначально были обречены. Два человека, которые приняли влюблённость за любовь,

страсть — за близость, привычку — за счастье.

Знаете, что самое страшное? Я не могу вспомнить, когда была счастлива последний раз. По-настоящему счастлива — не «нормально», не «терпимо», а так, чтобы внутри всё пело.

Наверное, это было давно. Так давно, что я уже не уверена — было ли вообще, или я это выдумала.

Вечером приходит сообщение от Лены. Лена — моя подруга ещё с университета, единственный человек, с которым я могу быть честной. Ну, почти честной.

«Как ты? Давно не виделись».

Я набираю ответ, стираю, набираю снова. В итоге отправляю: «Нормально. Замоталась».

Враньё. Но правду написать невозможно. Как объяснить то, что я сама не понимаю? Как описать эту пустоту, которая разрастается внутри с каждым днём?

«Может, встретимся на неделе? Кофе?»

«Попробую».

Я не попробую. Я найду отговорку — Миша, занятия, погода, плохое самочувствие. Потому что сидеть напротив Лены, пить кофе и делать вид, что всё хорошо, — выше моих сил. А рассказать правду — ещё тяжелее.

Правда в том, что я разваливаюсь. Медленно, по частям. Каждый день откалывается кусочек — и я не знаю, сколько ещё осталось, прежде чем от меня останется только оболочка.

Ночью я не сплю. Лежу в темноте, слушаю, как тикают

часы в гостиной. Вадим ещё не вернулся — его половина кровати холодная, нетронутая.

Раньше я ждала его. Не могла заснуть, пока он не придёт. Прислушивалась к шагам на лестнице, к щелчку замка. Потом он ложился рядом, обнимал меня, и я засыпала — в тепле, в безопасности.

Теперь я засыпаю до его прихода. Или делаю вид, что сплю. Так проще. Не нужно разговаривать, не нужно притворяться, что всё нормально.

Знаете, есть такое состояние — когда тело устало, а мозг не отключается. Крутит одни и те же мысли, как заезженную пластинку. О браке. О Мише. О будущем, которого я не вижу.

Я думаю о том, кем хотела стать в двадцать лет. Искусствоведом. Работать в музее, водить экскурсии, писать статьи о Ренессансе и импрессионизме. У меня был диплом с отличием и горящие глаза.

Куда всё делось?

В замужество. В материнство. В бесконечный круговорот подгузников, врачей, терапий. Я не жалуясь — это мой выбор. Но иногда, вот как сейчас, посреди ночи, я думаю: а были это выбор? Или меня просто несло течением, и я не сопротивлялась?

Дверь скрипит. Шаги в коридоре. Вадим вернулся.

Я закрываю глаза, выравниваю дыхание. Притворяюсь спящей.

Он заходит в спальню, тихо раздевается. Ложится на свою половину — осторожно, чтобы не разбудить. Заботливо. Как будто ему не всё равно.

Может, не всё равно? Может, он тоже лежит в темноте и думает о том, как мы дошли до этого? Может, ему тоже больно, просто он не умеет говорить об этом?

Или я выдумываю. Придумываю ему чувства, которых нет. Потому что так легче — верить, что где-то глубоко он всё ещё любит меня. Что мы всё ещё можем это починить.

Но можно ли починить то, что не было сломано — а просто умерло? Тихо, незаметно, как цветок без воды?

Я не знаю.

Не знаю.

Следующий день начинается как обычно. Подъём, овсянка, ритуалы. Миша сегодня спокоен — смотрит свои мультики, ест без капризов. Маленькие победы, которыми я научилась дорожить.

Вадим уходит рано, ещё до того, как Миша просыпается. Оставляет записку на холодильнике: «Буду поздно. Не жди».

Не жди.

Я смотрю на эти два слова и чувствую, как что-то внутри сжимается. Не жди. Как приговор. Как констатация факта.

Я и не жду. Давно не жду.

Логопед приходит в десять. Пожилая женщина с добрыми глазами, Мария Сергеевна. Миша её любит — насколько он вообще способен любить в обычном понимании этого слова.

Он позволяет ей сидеть рядом, не отстраняется, когда она показывает карточки.

— Хорошая динамика, — говорит она мне после занятия.

— Он делает успехи.

— Правда?

— Правда, — она улыбается. — Анастасия, я знаю, что вам тяжело. Но вы прекрасно справляетесь. Миша — счастливый мальчик.

Счастливый. Это слово звучит странно. Как он может быть счастлив в мире, который не понимает? В мире, где каждый звук — угроза, каждое прикосновение — боль?

Но потом я смотрю на сына — на то, как он сосредоточенно собирает конструктор, как замирает у окна, глядя на качающуюся ветку, — и думаю: может, счастье бывает разным? Может, его счастье — не такое, как наше, но всё равно настоящее?

Может, я просто проецирую на него свою несчастьность?

От этой мысли становится стыдно.

После обеда я решаюсь. Достāju телефон, нахожу номер Лены, пишу: «Давай завтра? В два?»

Ответ приходит через минуту: «Отлично! Жду!»

Я смотрю на этот восклицательный знак и чувствую слабое подобие чего-то — не радости, нет. Скорее, облегчения. Может быть, мне нужен кто-то, кому можно выговориться. Кто-то, кто посмотрит со стороны и скажет: «Ты не сумасшедшая. Это нормально — чувствовать то, что ты чувству-

ешь».

Или, наоборот, скажет: «Соберись. Хватит себя жалеть». Это тоже срабатывает.

Вечером Вадим приходит раньше обычного. Я удивлена — он говорил, что будет поздно. Но вот он, стоит в дверях кухни, смотрит на меня.

— Есть разговор, — говорит он.

Что-то в его голосе заставляет меня напрячься. Какая-то нотка — не усталость, не равнодушие. Что-то другое.

— О чём?

Он садится напротив. Его руки лежат на столе — большие, сильные руки хирурга. Руки, которые спасают жизни. Руки, которые давно не касались меня.

— О нас.

Два слова. Простых, коротких. Но от них внутри всё обрывается.

— Что с нами?

Он молчит. Смотрит на свои руки, на стол, куда угодно, только не на меня.

— Я вижу, что тебе плохо, — наконец говорит он. — Я не слепой. И я... — пауза. — Я не знаю, что делать.

Это неожиданно. Я ждала чего угодно — обвинений, упрёков, холодного «нам надо поговорить о разводе». Но не этого. Не признания в беспомощности.

— Мне тоже, — говорю я тихо. — Я тоже не знаю.

Мы смотрим друг на друга. Впервые за долгое время —

по-настоящему смотрим. Не сквозь, не мимо. В глаза.

Его глаза серые, как декабрьское небо. Усталые, с красными прожилками. Глаза человека, который слишком много видел смерти.

— Я не хочу потерять тебя, — говорит он. — И Мишу. Вы — всё, что у меня есть.

— Тогда почему я чувствую себя такой одинокой?

Он вздрагивает. Словно я ударила его.

— Я... — он запинается. — Я не знал. Не думал, что всё так плохо.

— А ты думал — как?

— Думал, что справляемся. Что всё нормально, просто... сложный период. С Мишей, с работой...

— С нами, — добавляю я. — С нами — сложный период. Уже шесть лет. Или больше.

Он молчит. Я вижу, как дёргается мышца на его скуле. Признак, который я выучила за двенадцать лет: он злится. Или пытается сдержать что-то — слова, эмоции, правду.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал? — спрашивает он наконец.

Хороший вопрос. Что я хочу?

Я хочу, чтобы ты посмотрел на меня так, как смотрел раньше. Чтобы твои руки искали меня ночью, а не отворачивались к стене. Чтобы ты пришёл домой и первым делом спросил: «Как ты?», а не «Как Миша?».

Я хочу быть для тебя чем-то большим, чем мать твоего

ребёнка и хозяйка твоего дома.

Я хочу быть любимой.

Но вместо этого говорю:

— Не знаю.

Потому что знать — страшно. Потому что сказать вслух — значит признать, что этого нет. Что, может быть, никогда не было.

Вадим встаёт. Подходит ко мне. Я напрягаюсь, жду — чего? Не знаю.

Он кладёт руку мне на плечо. Тяжёлую, тёплую. Первое намеренное прикосновение за... я не помню, за сколько.

— Мы разберёмся, — говорит он. — Обещаю.

Я киваю. Не потому что верю. Просто не хватает сил спорить.

Он уходит в кабинет. Я остаюсь на кухне, смотрю на свои руки.

Мы разберёмся. Он так сказал.

Но что-то внутри меня уже знает: не разберёмся. Потому что нельзя разобраться с тем, что сломано настолько глубоко. Можно только склеить — криво, косо, на время. А потом всё равно развалится.

И когда развалится — будет больше, чем сейчас.

Ночью мне снится Миша. Маленький, двухлетний — таким, каким он был до диагноза. Он смотрит на меня своими синими глазами, открывает рот и говорит:

— Мама.

Я просыпаюсь с мокрым лицом. За окном — всё тот же декабрь, та же темнота. Рядом спит Вадим — далёкий, чужой.

Я лежу и думаю: сколько ещё? Сколько ещё таких ночей, таких дней? Сколько ещё я смогу нести этот груз?

И главное — что будет, когда не смогу?

Ответа нет. Только тишина. И тиканье часов.

Тик-так. Тик-так.

Обратный отсчёт. До чего — я ещё не знаю.

Глава 3

Настя

Есть такие моменты, которые делят жизнь пополам. До и после. Ты живёшь, дышишь, строишь планы — а потом одна секунда, один взгляд, одна картинка перед глазами — и всё. Человек, которым ты была, умирает. На его месте рождается кто-то другой. Изломанный, исковерканный, с дырой в груди вместо сердца.

Я не знала, что этот день станет таким. Не знала, что выйду из дома одним человеком, а вернусь — совсем другим.

Утро началось обычно. Миша, овсянка, ритуалы. Вадим уехал на работу ещё затемно — очередное суточное дежурство. Эпидемия гриппа не отступает, больница забита под завязку. Он выглядел измотанным, когда уходил. Тени под глазами, сутулые плечи. Мне хотелось сказать: «Побереги себя». Но слова застряли в горле.

Мы так и не поговорили после того вечера. Того, когда он сказал «мы разберёмся». Прошло три дня, и мы вернулись к привычному — обмен сообщениями, бытовая логистика, молчание. Как будто ничего не было.

Может, ничего и не было. Может, мне показалось, что он хочет что-то изменить.

В полдень няня забрала Мишу на прогулку. Светлана — пожилая женщина с терпением святой. Единственная, кроме

меня и Вадима, кого Миша подпускает близко. Она гуляет с ним по два часа каждый день, пока я делаю домашние дела или просто сижу в тишине, пытаюсь вспомнить, кто я такая помимо «мамы Миши».

Сегодня у меня было дело. Настоящее, важное — не счета и не уборка. Документы для нотариуса — какая-то бумажка по квартире, которую Вадим должен был подписать ещё неделю назад и забыл. Как обычно.

Я могла бы просто переслать ему скан. Могла бы подождать до вечера. Но что-то толкнуло меня в спину — оденься, выйди, съезди к нему в больницу. Может, увидимся хоть на пять минут. Может, выпьем кофе в больничном кафетерии, как когда-то давно, когда я ещё верила в нас.

Глупая надежда. Соломинка, за которую хватается утопающий.

Я оделась тщательнее обычного. Платье, которое он любил — тёмно-зелёное, красиво оттеняющее мои рыжие волосы. Распустила их — до лопаток, волнистые. Накрасилась впервые за месяц. Посмотрела в зеркало и увидела себя — ту, прежнюю. Красивую, яркую. Не бледную тень, в которую превратилась за последние годы. Синие глаза смотрели из зеркала с надеждой — глупой, детской надеждой.

Может быть, если он увидит меня такой, что-то изменится.

Какой же наивной я была.

Больница встретила меня привычным запахом — хлорка,

лекарства, чужое горе. Я знаю этот запах наизусть. Бывала здесь сотни раз — навещала Вадима, привозила еду, ждала в коридорах во время сложных операций.

Реанимационное отделение — на третьем этаже. Я поднялась по лестнице, прошла мимо поста медсестры. Девочка в голубой форме узнала меня, кивнула. Я улыбнулась ей — вежливо, дежурно.

Ординаторская была в конце коридора. Дверь приоткрыта — не заперта, просто прикрыта, так что оставалась щель в несколько сантиметров. Я подошла, уже готовя слова: «Привет, ты забыл документы, я подумала, может, заодно пообещаем...»

Слова умерли на губах.

Потому что сквозь эту щель я увидела то, что не должна была видеть.

Сначала я не поняла. Мозг отказывался складывать картинку в целое. Отдельные детали — как осколки разбитого зеркала — никак не хотели соединяться.

Женская спина. Голая спина — белая кожа, выступающие позвонки, бретелька бюстгалтера съехала вниз, почти до локтя. Тёмные волосы рассыпались по плечам — густые, блестящие. Её платье — нет, медицинская форма — сползло до талии, скомкалось на бёдрах. На лопатках розовели свежие царапины — параллельные полосы, как от ногтей.

Его ногтей.

И руки. Мужские руки на этой спине. Большие, сильные,

с длинными пальцами хирурга. Руки, которые я узнала бы из тысячи. Руки, которые когда-то держали меня в нашу первую ночь. Руки, которые принимали нашего сына из рук акушерки.

Руки моего мужа — на теле другой женщины.

Вадим стоял, прижав её к стене рядом с окном. Его белый халат валялся на полу — скомканный, брошенный в попыхах. Рубашка расстёгнута, выдернута из брюк, висела на плечах. Я видела его спину — напряжённые мышцы, ходившие под кожей.

А брюки...

Господи.

Он застёгивал ширинку. Прямо сейчас, в эту секунду — его пальцы возились с молнией, застёгивали пуговицу на поясе. Движения торопливые, дёрганные. Как у подростка, которого застали за чем-то постыдным.

Она повернулась — медленно, томно, с улыбкой сытой кошки. Потянулась за своим платьем, и я увидела её грудь — молодую, упругую, без лифчика. Её губы были припухшими, размазанная розовая помада тянулась к подбородку. Глаза — затуманенные, полуприкрытые.

Она была красива. Молодая, свежая, без единой морщинки. Тело, не тронутое временем и материнством.

И тогда мир взорвался.

Нет — схлопнулся. Как чёрная дыра, которая втягивает в себя всё: свет, звук, воздух, смысл. Я стояла в коридоре,

смотрела на эту картину, и меня разрывало изнутри.

Это было физически. Не метафора — реальная, осязаемая боль. Как будто кто-то вогнал мне под рёбра раскалённый прут и проворачивал, проворачивал, проворачивал. Как будто все мои внутренности превратились в стекло и одновременно лопнули, вспарывая меня осколками изнутри.

Ноги подкосились. Я схватилась за стену, чтобы не упасть. Меня трясло — мелкая дрожь прошивала тело от макушки до пяток. Зубы стучали. В горле пересохло так, что я не смогла бы закричать, даже если бы хотела.

Двенадцать лет.

Мысль пробила сквозь агонию — острая, как нож.

Двенадцать лет я была его женой. Родила ему сына — на грани смерти, истекая кровью на операционном столе. Отдала молодость, карьеру, себя. Двенадцать лет я засыпала одна и просыпалась одна, потому что он спасал чужие жизни. Двенадцать лет я говорила себе: он герой, он нужен людям, я должна терпеть.

И всё это время — что? Он трахал медсестёр в ординаторской?

Меня затошнило. Желудок скрутило так, что я едва не согнулась прямо там, в коридоре. Во рту стало кисло, горло сжалось.

Документы — дурацкие бумаги, ради которых я сюда приехала — выпали из рук, разлетелись по полу.

И в этот момент она меня увидела.

Наши глаза встретились сквозь щель в двери. Её — карие, испуганно расширившиеся. Мои — синие, мёртвые.

Она ахнула. Отшатнулась от Вадима. Её рот открылся, но я уже не слышала — разворачивалась, бежала по коридору на ватных ногах.

Мимо поста медсестры. Мимо каталок, мимо людей, мимо чьих-то голосов. Лестница — я чуть не упала, вцепилась в перила. Ступеньки прыгали под ногами, как живые.

В голове было пусто. Ни мыслей, ни слов — только этот прут под рёбрами, который всё проворачивался, проворачивался.

И картинка. Картинка, выжженная на сетчатке калёным железом.

Её голая спина. Царапины на лопатках. Его руки. Его растёгнутые брюки. Его лицо — довольное, расслабленное, чужое.

Парковка. Машина. Где ключи? Руки трясутся так, что я не могу попасть в карман. Сумка падает, содержимое рассыпается по асфальту. Помада, зеркальце, телефон. Зеркальце разбивается — семь лет несчастья? Поздно. Несчастье уже здесь.

— Настя!

Его голос. За спиной, совсем близко.

— Настя, подожди!

Не оборачиваться. Не смотреть. Найти ключи, сесть в машину, уехать.

Но он быстрее. Он всегда был быстрее — длинные ноги, спортивное прошлое. Хватает меня за локоть, разворачивает к себе.

И я вижу его лицо.

Белое, как мел. Серые глаза — огромные, испуганные. На скуле — след помады. Её помады. Розовой, с запахом клубники — я чувствую этот запах, и меня снова мутит.

— Это не то, что ты думаешь...

Я рассмеялась.

Этот звук напугал меня саму. Хриплый, рваный, страшный смех на грани истерики. Смех человека, которого предали так глубоко, что слёзы уже не идут.

— Не то, что я думаю? — мой голос был чужим. — А что мне думать, Вадим? Что она упала, а ты её поднимал? Что вы репетировали сцену из фильма?

— Настя...

— У тебя помада на щеке, — сказала я ровно. — Розовая. Ты её хотя бы вытри, прежде чем врать.

Он машинально поднял руку, провёл по лицу. Посмотрел на пальцы — розовый след. И что-то в нём сломалось. Я видела это — как ломается его привычная маска спокойствия, контроля, уверенности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.